

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА (1892-1941)

Жила-была сто лет назад в Москве девочка Марина. Дом её стоял в Трёхпрудном переулке. В доме было много репродукций картин, копий греческих скульптур («белоглазых богов») — это потому, что отец девочки, Иван Владимирович Цветаев, был директором и создателем Музея изящных искусств (ныне Музей имени А. С. Пушкина в Москве). Ещё в доме часто звучала музыка — Бетховен, Шопен, — это играла на рояле её мать, Мария Александровна, талантливая музыкантша.

Для девочки и картины, и музыка, и книги, и вся атмосфера дома были не просто фоном её детства. Случилось прекрасное: её умение слушать, всматриваться, вдумываться загло в ней «тайный жар». Девочка стала писать стихи. И тут оказалось, что имя у девочки не случайное, а самое настоящее, её имя — Марина (по-латыни — «морская»):

Кто создан из камня, кто создан из глины —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская.

Марина Цветаева и вправду похожа на море: и зеленью глаз, и вольностью, и весёлостью, и грозностью бушевавших в ней страстей, и нежностью, и своенравностью.

Как похожи слова «стихи» и «стихия»! У Марины Цветаевой они неразлучны и неделимы. Она пишет так, как никто и никогда до неё не писал: её слова жгут, трепещут, сверкают.

Её «тайный жар» стал её Даром нам, читателям. «Чтение есть соучастие в творчестве», — говорила Марина. И ты, читающий её книги, непременно и сам немножко становишься творцом, и у тебя становится «жарко в груди». Это тайна Марины Цветаевой.

Ольга Нестерова

Сказка матери

— Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю? Нет, не говори, что всё равно, всё равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чуточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), — если — Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали — кого, и она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

— Кого — больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? — с явным замешательством (и явно оттягивая) — мать. — Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

— Да, — неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже *мой* победоносный взгляд. — А всё-таки — кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку — больше?

— Жила-была мать, у неё были две дочки...

— Муся и я! — быстро перебила Ася. — Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свёртывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

— Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, — две дочери, старшая и младшая.

— А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, — возбуждённо продолжала Ася, — а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

— Да, — подтвердила мать.

— А младшая потом *ещё* вышла замуж за князя и за графа, и у неё было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая чёрная. А старшая — в это время — так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип её из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в жёлтую собаку, и вот раз младшая едет в *ландо* и видит: такая бедная, гадкая, жёлтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добрая! — её пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) — сразу влезла — и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у неё глаза не собачьи, а такие гадкие, зелёные, старые, особенные — и вдруг узнала, что это её старшая, старая сестра, и разом выкинула её из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!

— Да, — снова подтвердила мать. — Отца у них не было, только мать.

— А отец умер — от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов, и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведёт в могилу!

— При чём Захарьин, — внезапно очнулась мать, — это было давно, тогда ещё никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

— А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в неё всё сыплется: разные кости, и рыбы хребты, и вишнёвые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у неё не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, всё чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня *страшно* ущипнула!

— Врёшь! — от негодования и изумления прохрипела я. — Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала *мой* карандаш, с «Муся» чернилом.

— Ма-ама! — заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меняя рейс, — а когда человек сказал да, а во рту — нет, то что же он сказал? Он ведь *два*

сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрёт, то куда же он пойдёт?

— Кто куда пойдёт? — спросила мать.

— В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

— Гм... — задумалась мать. — У нас — не знаю. У католиков на это есть чистилище.

— Я знаю! — торжествующе, Ася. — Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

— И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

— Мама! — заныла Ася. — Я совсем не знаю, какой разбойник!

— А я знаю! — я, молниеносно. — Разбойник, это враг этой дамы, этой мамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел ещё убить одну из девочек, сначала двух...

— Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

— Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда — одну...

— И я знаю *какую!* — Ася.

— Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было всё равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме — потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

— Может быть, — сказала мать, прислушиваясь, — но я этого и сама не знала.

— Потому что он был в неё *влюблён!* — торжествовала я, и уже безудержно: — И ему лучше было её видеть в могиле, чем...

— Какие африканские страсти! — сказала мать. — Откуда это у тебя?

— Из Пушкина. Но я другому отдана, *но* буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

— А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

— Нет, мама, в «Курьере» — совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

— Мама, что такое молочная сестра? — спросила присмирившая, подавленная моим превосходством Ася.

— Дочь кормилицы.

— А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

— Вот.

— Фу! — сказала Ася.

— А Ася, мама, не моя, правда, мама?

— Не твоя, — подтвердила мать. — Потому что Асю кормила я, а тебя — кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы — был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того

жадная, что, когда бабушка ей однажды вместо золотых серёг подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

— А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася.

— Ни одной, — ответила мать, — их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». — «Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтоб ты вечно мучилась, что эту — *выбрала*, а ту... Ну, которую же?» — «Нет, — сказала мать. — Скорей *ты* умрёшь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я — сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

— А кого, мама, она всё-таки больше жалела? — не вытерпела Ася. — Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги её даже тошнило...

— Да! А когда ей давали икру, она мазала её под скатерть, а селедку жеваную выплёвывала Августе Ивановне в руку... и вообще под её стулом всегда была помойка, — я, с ненавистью.

— Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррради Бога, ещё один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама её — больше любила!

— Может быть... — честно сказала мать, — то есть больше — жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

— Мама, не забудь про аппендицит! — взволнованно, Ася. — Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, — тогда она стукнулась об камень, и у неё сделался аппендицит — и она бы наверное умерла — но ночью приехал доктор Ярхо — из Москвы — и даже без шапки и без зонтика, — а шёл даже град! — и он был совершенно мокрый. Это — правда — мама, *святой* человек?

— Святой, — убеждённо сказала мать, — я святее не встречала. И притом — совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь *какая* гроза! И ещё, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

— Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор — да? А когда доктор болеет — кто его спасёт? Просто — Бог?

— Всегда — Бог. И тогда тебя — Бог. Через доктора Ярхо.

— Мама, — я, устав слушать про Асю, — а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот — *пузо*? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

— *Непривычно*, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

— Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? — после долгого общего молчания спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так — ушёл?

— Не ушёл, — сказала мать. — Не ушёл, а сказал ей следующее: «Зажжём в церкви две свечи, одна будет...»

— Муся! А другая — Ася!

— Нет, имён в этой сказке нет. «...Левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

— Мама! Одинаковых не бывает. Одна была всё-таки чу-уточку, кро-охотку...

— Нет, Ася, — уже строго сказала мать, — я тебе говорю: совершенно одинаковые. «Сама зажигай», — сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть — ровно-ровно, и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи всё горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи — как два близнеца. Бог их знает, сколько ещё времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придём сюда. Кто первый придёт — другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

— А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? — Ася.

— Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже — с двух разных сторон — разбойник слева, мать справа — потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла — и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви — а против церкви — солнце вставало! — разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и —

— Одна свечка совсем сгорела: чё-ёрная! А другая ещё чу-уточку... — взволнованно, Ася.

— Две чёрные, — трезво я. — Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, — то всё опять сначала.

— Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, несколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили — так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли — неизвестно, но когда она опомнилась — разбойника не было — как и куда ушёл — неизвестно. Не дождалась его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошёл слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

— Мама! Это был — разбойник! — закричала я. — Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только — ужасно жаль.

— Что — жаль? — спросила мать.

— Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, — поплёлся — ни с чем! — она, конечно... *я бы*, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нём женилась.

— Вышла бы за него замуж, — поправила мать. — Женятся — мужчины.

— Потому что она его и *вперёд* любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

— Да, но ты совершенно забыла, что он убил её мужа, — сказала мать взволнованно, — разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

— Нельзя, — сказала я. — Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

— А дети? — спросила мать глубоко-глубоко. — Разве можно бросить детей?

— Ну, *тогда*, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!